

УДК 008

Т. С. Злотникова

<https://orcid.org/0000-0003-3481-0127>

**Ожидание и страх: философско-антропологические предвестия
российских трансформаций XX века**

Статья подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда № 20-68-46013

«Философско-антропологический анализ советского бытия. Предпосылки, динамика, влияние на современность»

Для цитирования: Злотникова Т. С. Ожидание и страх: философско-антропологические предвестия российских трансформаций XX века // Верхневолжский филологический вестник. 2020. № 3 (22). С. 195–202.

DOI 10.20323/2499-9679-2020-3-22-195-202

В статье ставится вопрос о предвидении моральных и интеллектуальных, эстетических и политических коллизий, которые могли наступить после ожидавшихся на рубеже XIX–XX вв. перемен. Философско-антропологическая парадигма предреволюционной эпохи определяется через метафоры и концепты, привлекавшие внимание русских философов, представителей сферы художественного творчества: «ожидание» (перемен, новых людей и явлений) и «страх» (перед изменениями, неизвестностью). Для анализа выбраны суждения выдающихся философов, открывших для современников бытийные вопросы и связанную с ними экзистенциальную проблематику переходной эпохи: В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева. У В. Соловьева проблематика ожидания связана с одиночеством человека перед лицом глобального разлада. Обращено внимание на понятие «симптом конца», на внимание к понятиям кризиса и катастрофы. Одиночество испытывает интеллект в ожидании изменений, возможно, разрушительных, поэтому ожидание как контекст одиночества перерастает в ужас. У В. Розанова подчеркнута тенденция дистанцирования по отношению к миру, Европе, современникам и классикам в России. В философских и публицистических работах Розанова будущее вообще не обсуждается из-за невозможности его конструирования; прошлое же, которое могло бы стать прибежищем представлений о гармонии и достоинстве жизни, вызывает у философа отношение подчас еще более негативное, чем современность. На примере великих творцов – А. Чехова, В. Мейерхольда, В. Комиссаржевской и других современников Н. Бердяева – показано психоэмоциональное напряжение от наступавшего кризиса, ужас в ожидании наступавшего будущего. У Бердяева органично возникает вопрос границы между тоской и другими состояниями (скука, ужас, ощущение пустоты), причем граница носит экзистенциальный характер.

Ключевые слова: философско-антропологические предвестия, будущее, ожидание, страх, В. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев

Zlotnikova T. S.

**Expectation and fear: philosophical and anthropological presages of russian transformations
of the twentieth century**

The article raises the question of foreseeing moral and intellectual, aesthetic and political collisions that could occur after the expected changes at the turn of the XIX–XX centuries. The philosophical and anthropological paradigm of the pre-revolutionary era is defined through metaphors and concepts that attracted the attention of Russian philosophers, representatives of the sphere of artistic creativity: «expectation» (of changes, new people and phenomena) and «fear» (of changes, the unknown). For the analysis, we selected the judgments of prominent philosophers who discovered existential issues and related existential problems of the transition era for their contemporaries: V. Solovyov, V. Rozanov and N. Berdyaev. In V. Solovyov, the problem of waiting is related to the loneliness of a person in the face of global discord. Attention is drawn to the concept of «symptom of the end», to the concepts of crisis and disaster. Loneliness is experienced by the intellectual in anticipation of changes, possibly destructive, so the expectation as a context of loneliness turns into horror. V. Rozanov emphasized the tendency to distance himself from the world, Europe, contemporaries and classics in Russia. In Rozanov's philosophical and journalistic works, the future is not discussed at all because it is impossible to construct it; the past, which might have been the refuge of ideas about the harmony and dignity of life, causes the philosopher's attitude is sometimes even more negative than the present. On the example of the great creators – A. Chekhov, V. Meyerhold, V. Komissarzhevskaya and other contemporaries of N. Berdyaev, the psychoemotional tension from the coming crisis, the horror in anticipation of the coming future is shown. Berdyaev

organically raises the question of the border between longing and other conditions (boredom, horror, a sense of emptiness), and the border is existential.

Key words: Philosophical and anthropological presages, future, expectation, fear, V. Solovyov, V. Rozanov, N. Berdyaev.

Перед русской культурой с настоятельностью и неуклонной повторяемостью, как в конце XIX века, так и в конце века XX и в начале XXI вырастала дилемма. Русские философы по-разному рефлексировали, именовали, но особенно остро ощущали эту дилемму в преддверии внятно заметных преобразований. Варианты виделись такими.

Либо — остаться во власти «атомизма» как прямого результата движения цивилизации, когда в жизни и культуре торжествуют «отдельный эгоистический интерес, случайный факт, мелкая подробность» [Соловьев, 1988, с. 163]; это — согласно размышлениям В. Соловьева. Либо согласиться ли с той «элементаризацией», которая «лишь представляется сложной», что обычно происходит «на вершинах цивилизации» [Бердяев, 1990, с. 280]; это — в логике опасений Н. Бердяева. Либо сетовать на культуру, являющую картину разложения общества и при этом не дающую ответа на вопрос «А разве не страшно жить в разлагающемся обществе?» [Розанов, 1994, с. 195]; это — в соответствии с вечным недовольством В. Розанова.

Порядок «представления» философов, представленный ниже, соответствует не значению их или иной иерархии, и не датам их рождения, а времени ухода из жизни и, соответственно, времени встречи и прощания с признаками наступающих изменений. Если В. Соловьев уходит из жизни буквально на рубеже эпох, а не просто веков — в 1900 году, а В. Розанов, который был всего на 3 года моложе его, — в самом начале нового, советского бытия, когда ожидания, в том числе и негативные, только начинали воплощаться, в 1919 году, то Н. Бердяев, который был почти на 20 лет моложе Соловьева и более чем на 15 лет моложе Розанова, прожил жизнь значительно более долгую, чем двое других философов (до 1948 года), застав три десятилетия развития советского бытия, хотя и на далеком от него расстоянии.

В. С. Соловьев

Среди набора понятий, терминов и метафор, характерного для конца позапрошлого века, с его ожиданиями и страхами, доминирующее место принадлежит понятию (и состоянию), названному *одиночество*. Последнее является глобальным

следствием не просто конкретной социально-психологической ситуации, но неумолимого движения самой жизни, недаром притча об одиночестве венчает сочинение В. Соловьева с симптоматичным названием «Тайна прогресса». Охотника, заблудившегося в лесу, преследует ощущение безвыходности его «блужданий» (что напоминает знаменитую символистскую метафору пребывания на одиноком острове в пьесе М. Метерлинка «Слепые»): «*одиночество, томление, гибель*» [Соловьев, 1988, с. 556]. Одиночество испытывает интеллект в ожидании изменений, вполне возможно, разрушительных, поэтому ожидание как контекст одиночества перерастает в ужас.

Эмоциональная окраска, характеризующая ожидание наступившего или, по крайней мере, наступающего кризиса, достаточно явственно отличает существование младших современников В. Соловьева, на которых он оказал мощное влияние (от А. Блока и Д. Мережковского до А. Белого и В. Мейерхольда, рожденных) от настроения тех, кто был постарше примерно на 20 лет. Одно несомненно роднит старших и младших при всех нюансах их конкретного отношения к происходящему: они видят как наличие, так и «симптомы конца» (В. Соловьев) и считают характерным наступление *fin de siecle* (А. Бенуа) [Бенуа, 1990, с. 47].

В переходный, ощущаемый еще и как переломный период жизни трансформируется и картина мира, и нравственная парадигма искусства. Не только в России, но и в Европе, хотя везде по-своему, доминирующее качество обретает *эстетика разлада*, противопоставляемого созиданию. Как заметил В. Соловьев, «прежнее искусство отвлекало человека от... тьмы и злобы... и развлекало его своими светлыми образами; теперешнее искусство, напротив, привлекает человека к тьме и злобе житейской»; однако, человек своего поколения, В. Соловьев стремится уравновесить ожидание, равное страху, надеждой, пусть в самом ее эфемерном качестве: «... с неясным иногда желанием просветить эту тьму, умирить эту злобу...» [Соловьев, 1988, с. 293].

Старший из тех, кто давал философское осмысление *коллизий ожидания*, В. Соловьев вырабатывает особую лексику. Напомним, что именно он произносит пророческое словосочетание «*симптом конца*», соотнося *конец* с темпом прогресса, который затем сначала ощутят, а после сделают предметом анализа его младшие современники. С другой стороны, сама способность ощущать «симптомы конца» для него, по-видимому, связана с возрастными характеристиками тех, по чьему адресу он слегка иронизирует: «Зрение ли у меня туманится от старости, – говорит у него Политик, – или в природе что-нибудь делается?..» «А я вот – вторит ему Дама, – с прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в душе: и здесь нет «полной ясности»... Все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее». Еще один собеседник, Генерал констатирует, принимая сознаваемое как естественное, а не просто неизбежное: «Что мы стареем – это несомненно; и земля ведь тоже не молодеет...» Для него логически достигнутым состоянием является «... какое-то обоюдное утомление» [Соловьев, 1988, с. 705, 735].

Младшие современники В. Соловьева, предощущая неведомое и неизбежное, воспринимая его как трагически разворачивающееся будущее, испытывают ужас, но гордятся своей причастностью к Неизбежному Трагическому. Философствующий писатель, как это было характерно для многих русских творцов, А. Белый словно вторит участникам эпического соловьевского диалога; для него рядом с людьми, которые не чувствуют «перемен погоды», «руководствуются зрением» и, не взяв с собой зонта при безоблачном горизонте, «возвращаются промокшими», – есть другие, у которых к непогоде «свербит поясница». Нагнетая ужас и варьируя атмосферу метерлинковских диалогов-кошмаров, А. Белый строит полилог между старшими, кого он называет «детьми конца», и младшими – «детьми рубежа». Состояние ожидания, неопределенности и страха перед наступлением неизведанного определяется для младших современников В. Соловьева границей не только между двумя эпохами, но и между двумя мирами – зримым и мыслимым, потому на словно и не существующие раздражители реагируют особые «измерительные приборы» – «органы чувств» [Белый, 1989, с. 47].

Темой размышлений философов и темой художественного творчества практически всех

«детей рубежа» становится *одиночество*. Так было с прожившим 40 лет в новом веке В. Мейерхольдом, характернейшей персоной из «младших» по отношению к В. Соловьеву. В творчестве режиссера эта тема проступает постоянно и разнообразно: он играл в знаменитой постановке Художественного театра Иоганнеса, героя пьесы Г. Гауптмана «Одинокие», по поводу именно этой роли А. П. Чехов слал Мейерхольду свои рассуждения о нервности современного человека. Сам же В. Мейерхольд в единый логический ряд ставил «одинокого» Иоганнеса и чеховских персонажей, сыгранных им до и после этой роли: «В драме Треплева, Иоганнеса и Тузенбаха много моего, особенно в Треплев...» [Мейерхольд, 1968, с. 77].

Одиночество, сумрак, страсть, естественно, запретная, предстает в художественном творчестве младших современников В. Соловьева в неощутимо-текучем качестве. Это отмечают не только поэты, режиссеры и актеры, литературные и театральные критики – отмечают психиатры. Опираясь на впечатления коллеги, З. Фрейд анализировал образ действий великой итальянской актрисы, Э. Дузе, современницы В. Комиссаржевской (которая в своих ролях и в своих эпистолярных текстах одиночество и ужас воплощала многократно). Психиатр отмечает симптоматические действия, когда в обыденном жесте содержится представление о том, «из каких глубоких источников идет ее игра». Всего-то и действий: «Погруженная в мысли... она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает» [Фрейд, 1989, с. 280]. Анализ действий, производимый психиатром, убедительно соотносится в своей антропологической специфичности с конкретикой художественных фактов, представляемых критиком. Говоря о той же Э. Дузе как об образце «гениальной неврастении» и сравнивая с другими актрисами рубежа веков, критик произносит точную формулу, в которой можно увидеть ключевое понятие эпохи; «какое материальное вознаграждение, – пишет он, – может восполнить убыль души?» [Кугель, 1967, с. 315].

Таким образом, современниками В. Соловьева, в точном соответствии с его идеями, хотя часто и без ссылок на них, *убыль души* воспринимается как непосредственное проявление *кризиса* и *катастрофы*, как источник *ужаса*.

В. В. Розанов.

Казалось бы, не слишком стремившийся к интеграции в физическом и духовном смыслах, Ро-

занов с Европой, что называется, соотносился. Будучи в Европе, он, человек тончайшей психологической организации, мог играть в европейские игры, записывая в вагоне поезда «Эйдуна — Берлин» рассуждения о старости и молодости, покое и усилиях [Розанов, 1990, с. 503]. При этом европеизм своего великого современника В. Соловьева осуждал, ставя ему в упрек недостаток «русского духа», «русского тепла» [Розанов, 1995, ч. 1, с. 231]. И радовался (в речи на панихиде) его приближению на закате жизни к сердцу России — заметим, в прямом и переносном смысле, — тому, что Соловьев скидывал с себя явно европейские «мантию философа, арлекинаду публициста», готовый облачиться в русскую «схиму» [Розанов, 1992, с. 369–370].

Соблюдая лично им установленную дистанцию с миром, Розанов недаром называет одно из своих творений «Уединенное». Вот та грань, на которой строились парадоксы личности Розанова: жизнь (грязная, низкая — или, напротив, неожиданно прекрасная) и мыслимый ее образ, который вовсе не обязательно, как у многих русских философов, простирается в будущее, возможно — в несуществующую и неосуществимую ирреальность. С ним играть ловчее, удобнее, он компактен и подвластен. А «сверхъестественная интуиция» позволяет сыграть с вымыслом, не замечая его эфемерности. Говоря о зрелом Розанове, Д. Мережковский изумлялся тому, как «без всякой внешней учености», только по наблюдениям (Библия, памятники Древнего Востока) мыслитель воссоздал египетский и иудейский мир [Розанов, 1995, ч. 1, с. 401]. Но именно эта интуиция, позволявшая строить интеллектуальные дома на песке, поразила сослуживцев Розанова еще в его молодости: в философском сочинении «О понимании» «... не было цитат и ссылок на философическую литературу». Провинциальные Беликовы и Медведенки не догадывались о способности странного коллеги к редкостной, свободной игре ума — им легче было предположить, что автор «списал эти сотни страниц из каких-нибудь книг...» [Розанов, 1995, ч. 1, с. 94].

Мысленно составленный Розановым «список» негативно воспринимаемых персон, принадлежащих разным эпохам и национальностям, определенно соответствует его мироотрицанию (что можно сказать по аналогии с мировосприятием) и характерно продолжается в перечислении друга и биографа, А. Измайлова. Согласно интерпретации

биографа, негативно оцениваются и впавшие в буффонаду декабристы, и превозносимый прежде Некрасов, который теперь рассматривается как погубитель тысяч юношей, и ругающийся вице-губернатор Салтыков, а заодно и Тургенев с его письмами к Виардо. Достается — буквально на уровне неукротимой, захлебывающейся от энтузиазма брани — Спенсеру («лошадиная голова»), а также Дарвину, которому «даже честь происходить от умной обезьяны» [Розанов, 1995, ч. 2, с. 95].

Розанов раздражает современность, вызывая у него едва ли не презрение; будущее он вообще не обсуждает, «благоразумно» предполагая невозможность конструирования; прошлое, которое могло бы стать прибежищем представлений о гармонии и достоинстве жизни, вызывает отношение подчас еще более негативное, чем современность.

Своего рода альтернативой неприемлемой современности и вызывающему страх и опасения будущему был для Розанова уход в сторону от конкретной жизни: в игру. Как ни покажется странным, игра была присуща натуре Розанова в высшей степени, так же, как натуре его немецкого alter ego, в честь которого его издавна называли «русским Ницше». Правда, биографы производили это сравнение своеобразным, психоэмоциональным признаком — к примеру, по «неустанному кипению мыслей, вихрю дум, углублений, подмечаний» [Розанов, 1995, ч. 2, с. 96]. Думается, подпись Розанова могла бы оказаться под таким «стишком» Ницше:

Сияясь скрыть избранность Божью,
Корчишь чертову ты рожу.
И кощунствуешь с лихвой.
Дьявол вылитый! И все же
Из-под век глядит святой! [Ницше, 1997, с. 335].

Как известно, для самого Розанова Ницше был своего рода эталоном; и если ему нужно было вознести себя как мыслителя в сонм бесспорных авторитетов, то он гордился, что «по сложности и количеству мыслей» оказывается первым, обойдя Ницше и Леонтьева [Розанов, 1995, ч. 2, с. 240].

Розанов искал своего рода «зеркала» нелюбимого мира, заведомо искажающие то, что в них должно было отразиться. Обращаясь к персоналиям, отметил: он отвергал В. Соловьева и почитал А. Суворина. Приближал Д. Мережковского и отталкивался от А. Чехова, особо отметим — восхищался стихами К. Победоносцева.

Философ издевается над Л. Толстым, Салты-

ковым-Щедриным, то похваливая, то низвергая Некрасова, отрицая символистов, ни о ком из *поэтов*, кроме разве что Пушкина, не писал Розанов так нежно, ласково и элегично, как о человеке, 25 лет исполнявшем обязанности обер-прокурора Синода. Он радуется ниспровержению нищезнания Победоносцевым (отметим особо это у Розанова – «русского Ницше»), Розанов воспекает книгу, полную «явного или тайного вздоха». И сам словно бы вздыхает, сетуя на то, что «невозможно без волнения прочесть эти строки в ней...»

Немало странностей, связанных с ожиданием перемен, можно заметить в построении Розановым своеобразной культурной «оси», на которой располагается прекрасное, но подчас ненавистное прошлое, отвратительное настоящее и пугающее будущее. Так, странными для язвительного Розанова выглядят восторги то ли прозревающего будущего, то ли отказывающегося от настоящего Розанова, который приводит из Победоносцева три четверостишия, где, «срывая с дерева засохшие листья, Вы не разбудите заснувшую природу», где затем «В засохших соках жизнь и сила разольется» и где в старом листе «новой поросли готовится назем». Это не опечатка [Розанов, 1990, с. 360].

Особой странностью, наличие которой если не объясняет, то обозначает отношение Розанова к будущему, отличается отношение Розанова к Суворину. Это отношение существует вне рациональной, общекультурной логики, характеризуя почтение честолюбивого и измученного потребностью выбраться из провинции не-интеллигента к человеку, который олицетворял для него не просто столицу и не просто успех, но: во-первых, сам был выходцем из провинции и, во-вторых, дал место для воплощения его литературных потенций. Этот последний аспект дополнялся, однако, для Розанова особым смыслом. При таком психоэмоциональном «окрасе» становится понятным, объяснимым и даже необходимым наличие вызывающего солидарные чувства у Розанова «черного гнева на врага России» у доброго, мягкого, уступчивого Суворина, каким его видит Розанов, [Розанов, 1992, с. 23].

По всей видимости, душевно нежное отношение в особой степени Розанов испытывал к двум людям – носителям классических традиций русской культуры: М. В. Ломоносову (бедняку-провинциалу, освятившему своим гением русскую историю) и А. В. Суворину. При всей неопоставимости этих фигур для стороннего взгляда, Розанову иной раз казалось недостаточно весомым для характеристики Суворина даже сравне-

ние с Ломоносовым, и тогда он говорил еще и о Новикове, подчеркивая объем сделанного Суворинным «статьями, газетою, бесчисленными изданиями полезных книг» [Розанов, 1992, с. 37]. Земляк (и Розанов, и Суворин – из-под Воронежа), Розанов с ласковой грустью, как о собственном прошлом, писал «о крошечной крестьянской избе, крытой соломой, где родился Суворин», о том, «как он пришел из Воронежского городка на север, вовсе безвестный, вовсе маленький» [Розанов, 1992, с. 37].

Наконец, следует особо сказать о наступившем и недолго сопутствовавшем Розанову советском бытии. Мы уже упоминали о том, что понимание и неприятие будущего как органичного продолжения неприяженно воспринимаемого настоящего – характерная особенность картины мира Розанова. Его перу, незадолго до его смерти, принадлежала притча из «Апокалипсиса нашего времени». Гротеск на тему новой жизни. Известны как минимум два варианта, в которых притча пересказана.

В пересказе В. Ерофеева она сродни черному анекдоту:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.

– Представление кончилось.

Публика встала.

– Пора надеть шубу и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось» [Розанов, 1990, с. 15]

В цитировании современника и биографа Розанова, писателя П. Губера, эта притча ближе к философским миниатюрам конфуцианского толка:

Интеллигенция и Революция.

Полюбовавшись вдоволь на это ужасное зрелище, мы сказали: – Теперь наденем шубы и пойдем домой. Но оказалось, что шубы украдены и дома заняты» [Розанов, 1995, ч. 2, с. 344].

Н. А. Бердяев

Казалось бы, «младшие» представители поколения переходной эпохи должны если не радоваться приближению будущего, то, по крайней мере, принимать эту ситуацию как естественную. Однако современники Бердяева испытывали ужас в ожидании наступившего будущего как времени кризиса, они с содроганием произносили имена событий и явлений, таивших в себе потенциал ужаса.

«Когда я умру...» – как о само собой разумеющемся скором исходе говорит 36-летняя В. Ко-

миссаржевская за 10 лет до смерти [Комиссаржевская, 1964, с. 91]. «Я страдаю и думаю о самоубийстве», — признается В. Мейерхольд, сообщая, что жизнь ему представляется «продолжительным, мучительным кризисом какой-то страшной затяжной болезни». В этом кризисе никакое будущее его не страшит; «лишь бы скорее конец, какой-нибудь конец». Мейерхольду в момент этого признания 27 лет [Мейерхольд, 1968, с. 82, 83]. В таком же, как Мейерхольд, возрасте, только не в частном письме, как тот или Комиссаржевская, но в фельетоне, написанном, правда, от первого лица, каковым тогда еще был Антоша Чехонте, издает вопль А. Чехов: «Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!...» [Чехов, 1974–1983, с. 507].

Вздрагивающий от шагов времени, недавно начавший жить «неврастеник», видел вполне конкретные творческие проблемы, вполне конкретные произведения искусства словно бы «на фоне вечности». Недаром среди всеобщих восторгов по поводу реалистической точности «Вишневого сада» Мейерхольд убеждал Чехова в том, что его пьеса «абстрактна, как симфония Чайковского». Специфика его эмоционального восприятия пьесы соответствовала совершенно новому типу взаимоотношений с миром во всем его объеме и во всей его смертельной опасности для отдельного человека. Недаром слово «Ужас» Мейерхольд пишет с заглавной буквы: это уже не состояние, это явление. О танцах, неуместных на фоне разорения в «Вишневом саду» Чехова, он пишет: «В этом акте что-то метерлинковское, страшное» [Мейерхольд, 1968, с. 85].

Страх уже не ожидается, он присутствует, рожденный не какими-либо конкретными знаниями или явлениями, он имеет такой источник, как ожидание — ожидание перемен, которые, казалось бы, так желанны.

Альтернатива страху — гармония, так, по крайней мере, представляется, в соответствии с мировой культурной традицией. Гармония, как кажется издавна, присущая прошлому, противоречит осязаемому или наступающему трагизму настоящего и будущего. Катастрофизм конца века порождает у классически воспитанного интеллигента нелюбовь «к классицизму, который создает иллюзию совершенства в конечном...» [Бердяев, 1990, с. 36]. А эта страстная нелюбовь влечет за собой потребность найти и утвердить нечто, противоположное классической гармонии.

В мироощущении русских философов конца XIX века явственно проступают очертания обыденного страха и мистического ужаса, уходящего за грань осязаемого и вырастающего из этого осязаемого в виде эстетически осмысливаемой пошлости. Ужас и пошлость становятся своего рода масками конца XIX века.

Бердяев собирал и предъявлял в «Самопознании» коллизии, говорившие о том, что рай должен быть утрачен: «Родовое имение моего отца было продано, когда я был еще ребенком, и был куплен в Киеве дом с садом. Отец мой всегда имел тенденцию к разорению. Всю жизнь он не мог утешиться, что имение продано, и тосковал по нему» [Бердяев, 1990, с. 17]. Противопоставляя своей невеселой семье благополучную семью тетки, он, прежде всего, упоминал принадлежавшее той великодушное имение. Благополучие и имение — важные жизненные приоритеты, возможно, интегральный символ гармонии самой жизни.

В восприятии и памяти Бердяева усадьба принадлежит прошлому и связана с утратой. Потому у Бердяева видим упоминание тоски в самом широком спектре смыслов, включая тоску «по трансцендентному»; упоминание «безнадежности», «страха», который надо отличать от «ужаса» (он — драматичен), упоминание «печали» (она — лирична), а также границы между прошлым и будущим. Ощущение пограничности бытия и опасение в отношении перехода через установившиеся духовные границы — вот модальность «самопознания»: «мне казалось, что я вынесу тоску, очень мне свойственную, вынесу и ужас, но от печали, если поддамся ей, я совершенно растаю и исчезну» [Бердяев, 1990, с. 45].

Тоска и кризис не разделены границей, тоска, по Бердяеву, это эмоциональное переживание кризиса. Таким образом, кризис — понятие более широкое и объемлющее разные жизненные сферы и состояния, в отличие от тоски с ее сосредоточением в человеке и «расположением» в экзистенции пограничного пространства. Представления о возможной и желанной гармонии разрушаются реально идущей жизнью, «твердость и устойчивость» миропорядка подвергаются не только сомнению, но опровержению, рядом с «тоской» и «кризисом» появляются «катастрофы», причем именно так — во множественном числе. «Мне свойственно катастрофическое чувство жизни», — как о само собой разумеющемся сообщает Бердяев [Бердяев, 1990, с. 203].

Опыт бытия и философской аналитики начала XX века показал: между «катастрофизмом» —

сильным и ярким эмоциональным состоянием – и «тоской», состоянием сглаженным, но весьма стойким – пролегает жизненный путь человека переходной эпохи. Следует особо напомнить о том, как Бердяев записал: «Всю жизнь меня сопровождала тоска <...> Нужно делать различие между тоской и страхом, и скукой» [Бердяев, 1990, с. 45].

У Бердяева вполне органично возникает вопрос о границе между тоской, с одной стороны, и другими состояниями (скука, ужас, ощущение пустоты) – с другой. Граница носит экзистенциальный характер. В понимании Бердяева особое качество тоски, понятие которой уже есть актуализация представлений о пограничности, а представление о ней можно противопоставить сартровской «тошноте», заключается в том, что она «направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира» [Бердяев, 1990, с. 45]. Самое же важное, что необходимо подчеркнуть в представлении Бердяева о тоске и о чем уже упоминалось, – это набор слов-метафор, слов-знаков, которыми он сопровождает характеристику тоски: это такие слова, как *бездна*, *конфликт*, *одиночество* и, наконец, *граница*, сопровождаемые многократным упоминанием «трансцендентного».

Таким образом, можно говорить о преемственности психоэмоциональных переживаний и интеллектуальных выводов философов в предположении изменений советского (еще неизвестного им) времени, по отношению к опыту людей, переживших переход от советского к постсоветскому бытию. Невосприимчивость предостережений, метафорически или публицистически высказанных в конце позапрошлого века, оборачивается повторяемостью ситуаций и даже судеб. Лексикон ученого конца XX века, обратившегося к публицистике, полностью воспроизводит характерный тезаурус конца прошлого века. Пограничность психоэмоционального состояния людей и атмосферы их бытия определяется и на рубеже XX–XXI веков такими понятиями, как «кризис», «неуверенность», «выбор», «тревога», «трагическая вина», а также – «страх» [Померанц, 1994], который в других версиях, рожденных в относительно отдаленном и недавнем прошлом трансформируется еще и в «ужас».

Библиографический список

1. Белый А. На рубеже двух столетий / сост., авт. предисл. А. В. Лавров. Москва : Художественная литература, 1989. 543 с.

2. Бенуа А. Н. Мои воспоминания : в 5 кн. 2-е изд., доп. Москва : Наука, 1990. Т. 2. Кн. 4, 5. 743 с.

3. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). Москва : Междунар. отношения, 1990. 336 с.

4. Бердяев Н. А. Судьба России / сост. и послесл. К. П. Ковалева. Москва : Советский писатель, 1990. 348 с.

5. Комиссаржевская Вера Федоровна : письма актрисы, воспоминания о ней, материалы / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии ; ред.-сост. А. Я. Альтшуллер. Москва : Искусство, 1964. 423 с.

6. Кугель А. Р. Театральные портреты. Ленинград : Искусство, 1967. 382 с.

7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть 1: 1891–1917. Москва : Искусство, 1968. 351 с.

8. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое; Веселая наука; Злая мудрость: афоризмы и изречения / пер. С. Л. Франк, К. А. Свасьян. Минск : Попурри, 1997. 704 с.

9. Померанц Г. С. Диалог наций на границе веков // Литературная газета. 1994. № 5.

10. Розанов В. Pro et contra: Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Кн. 1, 2. Санкт-Петербург : РХГИ, 1995. 512, 576 с.

11. Розанов В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине. Москва : «Патриот», 1992. 117 с.

12. Розанов В. Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Москва : Искусство, 1990. 604 с.

13. Розанов В. В. Среди художников / сост., подгот. текста и вступ. ст. А. Н. Николюкина. Москва : Республика, 1994. 493 с.

14. Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Сочинения : в 2 т. / Соловьев В. С. ; сост. и общ. ред. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги. Москва : Мысль, 1988. Т. 2. 892 с.

15. Фрейд З. Психология бессознательного : сб. произведений / сост., науч. ред., вступ. ст. М. Г. Ярошевский. Москва : Просвещение, 1989. 447 с.

16. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. / А. П. Чехов; АН СССР; Ин-т мировой лит. Им. А. М. Горького; гл. ред. Н. Ф. Бельчиков. Москва : Наука, 1974–1983.

Reference List

1. Belyj A. Na rubezhe dvuh stoletij = On the turn of two centuries / sost., avt. predisl. A. V. Lavrov. Moskva : Hudozhestvennaja literatura, 1989. 543 s.

2. Benua A. N. Moi vospominaniya = My memories: v 5 kn. 2-e izd., dop. Moskva : Nauka, 1990. T. 2. Kn. 4, 5. 743 s.

3. Berdjaev N. A. Samopoznanie (opyt filosofskoj avtobiografii) = Self-cognition (the experience of philosophic autobiography) Moskva : Mezhdunar. otnosheniya, 1990. 336 s.

4. Berdjaev N. A. Sud'ba Rossii = The destiny of Russia / poslesl. K. P. Kovaleva. Moskva : Sovetskij pisatel', 1990. 348 s.
5. Komissarzhevskaja Vera Fedorovna: pis'ma aktrisy, vospominanija o nej, materialy = Komissarzhevskaya Vera Fjodorovna : the actress's letters, memories about her, materials / Leningradskij gosudarstvennyj institut teatra, muzyki i kinematografii ; red.-sost. A. Ja. Al'tshuller. Moskva : Iskusstvo, 1964. 423 s.
6. Kugel' A. R. Teatral'nye portrety = Theatrical portraits. Leningrad : Iskusstvo, 1967. 382 s.
7. Mejerhol'd, V. Je. Stat'i. Pis'ma. Rechi. Besedy. Chast' 1: 1891–1917 = Articles. Letters. Speeches. Conversations. Part 1: 1891–1917. Moskva : Iskusstvo, 1968. 351 s.
8. Nicshe F. Chelovecheskoe, slishkom chelovecheskoe; Veselaja nauka; Zlaja mudrost': aforizmy i izrechenija = Human, very human; Joyful science; Anger wisdom: aphorisms / per. S. L. Frank, K. A. Svas'jan. Minsk : Popurri, 1997. 704 s.
9. Pomeranc G. S. Dialog nacij na granice vekov = The dialog of nations on the border of centuries // Literaturnaja gazeta. 1994. № 5.
10. Rozanov V. Pro et contra: Lichnost' i tvorcestvo Vasilija Rozanova v ocenke russkih myslitelej i issledovatelej = Pro et contra: The personality and work of Vasily Rozanov assessed by Russian thinkers and researchers : Antologija. Kn. 1, 2. Sankt-Peterburg : RHGI, 1995. 512, 576 s.
11. Rozanov V. Iz pripominanij i myslej ob A. S. Suvorine = From the recalling and thoughts of A. S. Suvorin. Moskva : «Patriot», 1992. 117 s.
12. Rozanov V. Nesovmestimye kontrasty zhitija. Literaturno-jesteticheskie raboty raznyh let = Incompatible contrasts of life. Literature-aesthetic works of different years Moskva : Iskusstvo, 1990. 604 s.
13. Rozanov V. V. Sredi hudozhnikov = Among artists / sost., podgot. teksta i vstup. st. A. N. Nikoljukina. Moskva : Respublika, 1994. 493 s.
14. Solov'ev V. S. Tri razgovora o vojne, progresse i konce vseмирnoj istorii = Three conversations about war, progress and the end of all world history // Sochinenija : v 2 t. / Solov'ev V. S. ; sost. i obshh. red. A. F. Loseva i A. V. Gulygi. Moskva : Mysl', 1988. T. 2. 892 s.
15. Frejd Z. Psihologija bessoznatel'nogo : sb. proizvedenij = The psychology of unconscious behaviour / sost., nauch. red., vstup. st. M. G. Jaroshevskij. Moskva : Prosveshhenie, 1989. 447 s.
16. Chehov A. P. Polnoe sobranie sochinenij i pisem : v 30 t. = Complete collection of works and letters in 30 t. / A. P. Chehov; AN SSSR; In-t mirovoj lit. Im. A. M. Gor'kogo; gl. red. N. F. Bel'chikov. Moskva : Nauka, 1974–1983.